ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



# Франсуаза Саган

## И ПЕРЕПОЛНИЛАСЬ ЧАША

## РЫБЬЯ КРОВЬ

## В ПАМЯТЬ О ЛУЧШЕМ

18+

« А З Б У К А »

Иностранная литература. Большие книги

Франсуаза Саган

# И переполнилась чаша. Рыбья кровь. В память о лучшем

«Азбука»
1984, 1985, 1987

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

**Саган Ф.**

И переполнилась чаша. Рыбья кровь. В память о лучшем / Ф. Саган — «Азбука», 1984, 1985, 1987 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-31127-5

Мадемуазель Шанель от литературы, французский Сэлинджер и Фицджеральд, литературная внучка Колетт, литературная крестница Маргерит Дюрас, скандальная звезда, азартный игрок, прожигательница жизни, тонкий психолог… Франсуаза Саган, прогремевшая с первым же своим романом «Здравствуй, грусть!» (1954), – неизменно свежий голос, кристально честно говорящий о том, что думают и чувствуют живые люди. Книги Саган переводились на десятки языков, их читают и перечитывают миллионы людей по всему миру и увлеченно экранизируют кинематографисты. В своих книгах Саган, чутко настроенная на тонкие вибрации каждого дня, который она проживала, обращалась к историческим событиям нечасто. Однако в обоих романах, включенных в это издание, «И переполнилась чаша» и «Рыбья кровь», действие происходит в 1942 году, во время нацистской оккупации Франции, – их герои, пытаясь быть над схваткой и посреди всеобщего безумия держать иронический нейтралитет, в итоге вынуждены посмотреть в лицо фактам и выбрать сторону. А «В память о лучшем» – сборник воспоминаний Саган: о дружбе с Билли Холидей, Теннесси Уильямсом, Орсоном Уэллсом и Жан-Полем Сартром, о бурной молодости в Сен-Тропезе, о казино и книгах, о творчестве тех, кем она восхищалась, и о ее бескорыстной, беззаветной к ним любви.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-31127-5

© Саган Ф., 1984, 1985, 1987
© Азбука, 1984, 1985, 1987

# Содержание

И переполнилась чаша 7
Глава 1 7
Глава 2 17
Глава 3 23
Конец ознакомительного фрагмента. 29

# Франсуаза Саган
# И переполнилась чаша; Рыбья кровь; В память о лучшем

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

БК

Серия «*Иностранная литература. Большие книги*»

Françoise Sagan
DE GUERRE LASSE
Copyright © Editions GALLIMARD, Paris, 1985
UN SANG D'AQUARELLE
Copyright © Editions GALLIMARD, Paris, 1987
AVEC MON MEILLEUR SOUVENIR
Copyright © Editions GALLIMARD, Paris, 1984

Перевод с французского *Ирины Радченко, Ирины Волевич, Лии Завьяловой*

АЗБУКА

© И. В. Радченко (наследники), перевод, 1999
© И. Я. Волевич, перевод, 1999
© Л. М. Завьялова (наследник), перевод, 1999
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 Издательство Азбука®

# И переполнилась чаша

*Моему сыну Дени*

## Глава 1

Даже погода в том, 1942 году поблажек не давала. Уже с мая луга изнывали от летнего зноя. Высокая трава, размякнув на солнце, клонилась, сохла и никла до земли. Поодаль, над сумеречной котловиной пруда, курился тонкими полосками туман; да и сам дом, с его розовым морщинистым фасадом, сомкнутыми, словно над тайной, ставнями второго этажа и в изумлении отверстыми застекленными дверьми первого, – сам дом уподобился старушке, сомлевшей от прихлынувшей неопределенности.

Шел уже десятый час; уповая на прохладу, кофе накрыли в саду перед ступеньками крыльца, но свет был таким ярким, а воздух таким теплым, что казалось, стоит полдень и лето в разгаре.

– А ведь еще только май! – сокрушенно произнес Шарль Самбра. – Что же будет в августе?

И кинул прямо перед собой окурок; его короткий и неотвратимый полет как бы предвосхитил для Шарля их будущее, однако, откинувшись в кресле-качалке, Алиса Файат проводила взглядом летящую в никуда и на гравий горящую сигарету безо всякой тревоги, оттого что брошена она была могучим жестом. От темневшего на фоне вечернего света силуэта мужчины и его энергичного движения веяло жизнью, а никак не роком: чуть раскосые карие глаза, полные губы и мясистый нос Шарля Самбра, хотя и обрамленные и оттененные на удивление черными и на удивление тонкими бровями и волосами, приличествующими более женщине или какому-нибудь Валентино, не таили в себе, несмотря на несколько старомодный стиль ловеласа девятисотых годов, ничего тревожного, ни даже пророческого. Ни даже раздражающего, что удивительно, подумала Алиса. И правда, бьющее через край здоровье и жизнелюбие этого человека почему-то не раздражали ее своей несвоевременностью и слепотой, постыдными в том мае 1942-го. Даже если в принципе и возмущало ее полнейшее его безразличие к судьбе отечества, существовало определенное согласие, о каком и помыслить-то гадко, и в то же время разительное, очевидное между этим человеком и запахом его дома и луга, линией тополей, холмами, такое согласие, которое могло бы примирить – если бы она хоть на миг могла себе подобное представить – великолепные речи Петена, окрашенные в цвета национального триколора, и его же – «зеленые», о возврате к земле. Алисе на мгновение почудился степенный зычный голос старика, а за ним исступленный вопль маньяка, она заморгала, откинула голову назад и инстинктивно повернулась к Жерому.

Жерома, как видно, тоже сморило от запаха разогретой травы. Он закрыл глаза, светлые пряди волос едва различались на усталом, беззащитном, ранимом и напряженном лице. Жером… Ему она сегодня была обязана всем, включая и эту траву, и усеянное звездами небо, и неожиданную возможность расслабиться; всем, даже и тем безотчетным и сомнительным удовольствием, той безотчетной тоской, какую вместе со стыдливой робостью внушало ей сугубо мужское обаяние друга детства Жерома, этого Самбра, к которому они нагрянули в тот день безо всякого предлога, благо дружба в таковых не нуждается.

Она заморгала и тряхнула головой, чтобы привлечь внимание Жерома, и не сразу осознала, что он тоже давно смотрит на нее широко открытыми глазами. По отношению к нему Алисе случалось впадать в эдакую близорукость, что представлялось ей проявлением не то ее

собственного эгоцентризма, не то его, Жерома, легкого нрава. За спиной у них как-то по-чудному запела птица, и Шарль рассмеялся.

– Поет, как извозчик, – пошутил он. – Мне всегда кажется, что она ругается неприличными словами. Ведь правда? В ее руладах – ни романтики, ни изящества. Даже ярость какая-то слышится, и это меня смешит.

– Верно, – отвечала Алиса поначалу из вежливости, а после заинтересованно, так как замечание не лишено было меткости. – Может, это утренняя птица: сбилась со времени, вот и злится?

Да почему они здесь, она, Жером? Почему разглагольствуют о пении дурацкой птички с этим бедолагой, хозяином обувной фабрики в провинции Дофине?

– Я вас прескверно угощаю, – констатировал Шарль тоном, в котором не слышалось и тени беспокойства и оттого чуть ли не циничным.

Этому человеку, похоже, ни в коей мере не доступны стеснение и укоры совести, подумалось Алисе; но она, ненавидевшая самомнение и даже просто душевную успокоенность столичных и провинциальных фатов, зазнаек, самонадеянных весельчаков, почему-то улыбалась, вспоминая, как Шарль был ошеломлен и восхищен их появлением и как рискованно управлялся на кухне с нечаянной яичницей. С тех пор прошел уже час – целый час! – а отзвук его смеха лишал ее, по крайней мере на тот вечер, всякой способности критически мыслить. В сущности, он был попросту добрым парнем – редкое по тем временам качество, столь же старомодное, как и его наружность, но оно-то, во всяком случае, пригодится для осуществления ее с Жеромом планов. А в доброте Шарля Алиса не сомневалась: она читалась на его лице, угадывалась во всем его поведении. Красивый малый, но сверх того еще и добрый. В точности как его описывал Жером. И снисходительность, которую она уловила тогда в голосе Жерома, вдруг показалась ей несправедливой и неуместной. В конце концов, будь этот Шарль Самбра хоть сто раз бабником, простаком, ограниченным материалистом, убаюканным в своей прекрасной Франции, он рисковал благодаря сегодняшним своим гостям в один прекрасный день оказаться поставленным к стенке или замученным палачами-садистами, сам не зная ради чего. И хотя недопустимо, недозволительно было объяснять ему, «чего ради», не удостоверившись предварительно, что данную цель он и они понимают одинаково, Алиса вдруг почувствовала себя бесчестной осквернительницей векового, священного гостеприимства… Она на мгновение ощутила себя волком в овчарне, но тут вдруг поймала неотрывно устремленный на ее собственное тело влажный взгляд карих глаз овечки по имени Шарль Самбра, и от этого взгляда она разом позабыла о своей роли большого злого волка.

– О чем ты говоришь! – запротестовал Жером. – Яичница была просто потрясающая. В Париже, дружочек, такую с руками бы оторвали!

– Ты не преувеличиваешь? – спросил Шарль не без иронии. – Со снабжением, я думаю, все наладится, – добавил он. – Немцы, они, знаешь, чертовски организованный народ.

– Ты так полагаешь? – Голос Жерома звучал рассеянно, будто издалека, и чуточку насмешливо.

Итак, он уже приступил к дознанию, устало подумала Алиса. Сразу к делу; не мог подождать один вечер, один-единственный вечер обойтись без всего этого? И сотни кадров, прыгающих, плохо освещенных, вереницей проплыли под ее опущенными веками: двери жалких гостиниц, темные улочки, перроны вокзалов, временные квартиры, едва распакованные чемоданы – грустные, грязные, безымянные картины, мизерабилистские, с неизменными острыми углами, одним словом, картины Сопротивления, казавшиеся здесь, на этой округлой поляне, под выпуклым небом, на фоне волнистой линии тополей, еще чудовищней. На глаза у Алисы навернулись слезы. Зря они сюда приехали. Не следовало останавливаться, отдыхать, надо было бежать дальше, от угла к углу, от подъезда к подъезду, петляя, падая на ходу. Ни в коем случае нельзя было расслабляться здесь, где земля так покойна и кругла, в присутствии этого

мужчины, у которого такая округлая шея, округлая и прямая, как те пресловутые березы и шеи, что описала одна чувственная женщина в своих изысканных романах. Шея прямая и загорелая под черными нестрижеными волосами – волосами брошенного мужчины, подумалось ей вдруг.

– Шарль, вы не женаты? – спросила она чуть ли не с тревогой, скорее даже не спросила, а услышала свой собственный вопрос и покраснела в темноте, возненавидела себя смертельно за любопытство, за вопрос, который Жером, кстати, – намеком, третьего дня, – не советовал ей задавать, возненавидела еще и за свое глупейшее умиление, нелепое по отношению к этому жалкому провинциальному соблазнителю, с нескрываемым самодовольством безмятежно наслаждающемуся своей холостяцкой жизнью. К этому фабрикантишке, находившему, что немцы очень организованный народ, что Франция ест досыта, а ее, Алисы, тело весьма аппетитно. Полагавшему, что все к лучшему в этом лучшем из миров.

– Жена меня бросила, – ответил Шарль, не глядя на Алису. – Она живет сейчас в Лионе. Я не очень хороший хозяин, но у меня есть Луи и его жена Элиза, она приходит стряпать каждый день, кроме воскресенья… потому-то ужин и был таким отвратительным. Если бы вы меня предупредили…

– Помилуйте, – пробормотала Алиса, вжавшись в кресло, чтобы скрыть заливавшую ее лицо краску, – я ж не про яичницу, я…

– Я понимаю, – сказал Шарль, – понимаю прекрасно. – И улыбнулся смущенно, но как бы и поощряюще, что окончательно повергло Алису в смятение.

– Простите меня, – проговорила она, вставая, – я совсем засыпаю, говорю сквозь сон, не знаю, право. Ужин был великолепен, но я должна лечь, я с ног валюсь, поезд шел бесконечно долго. Двадцать четыре часа мы ехали, да, Жером?

Молодые люди поднялись словно по команде, однако Жером, неуклюжий, как всегда, зацепился за кресло, в результате чего Шарль, подтянутый и трепещущий, очутился возле Алисы первым – как в американской комедии, внезапно развеселившись, подумала она, наблюдая за двумя не сводящими с нее глаз мужчинами, и, чтобы скрыть смех, круто повернулась к дому.

– Я покажу вам вашу комнату, – сказал Шарль, – или нет, пусть это сделает Жером, он лучше моего сумеет вас устроить; к моему удовольствию, он знает мой дом, как я сам. – Шарль положил руку на плечо подошедшего к ним Жерома, который подоспел, прихрамывая. – Но к моему великому сожалению, он лучше меня знает, что вы любите, – добавил он с неожиданным и старомодным изяществом и, отступив на шаг, изогнулся перед Алисой, не прикладываясь, однако, к руке, в сухом и каком-то отстраненном поклоне, показавшемся вдруг молодой женщине гораздо более эротичным, нежели самое продолжительное и страстное целование рук. Желая сохранить самообладание, она улыбнулась ему в лицо и встретила взгляд его карих, таких мужских и таких ребяческих глаз, в сущности, взгляд животного, напрочь лишенный как двусмысленности, так и наглости.

Такой взгляд, насколько ей помнилось, она видала только у охотников до женского пола; в ранней юности ей доводилось встречать на пляже мужчин, в которых все – и поведение, и взгляд – откровенно и невозмутимо говорило о безудержном желании обладать женщиной и выдавало скуку и глубокую неприязнь по отношению к собратьям по полу. Она знавала двух или трех подобных джентльменов, необыкновенно красивых, спокойных, воспитанных, сдержанных, иной раз совсем неприметных, из-за которых женщины умирали и кончали самоубийством, притом что никогда и никто, включая и самих страдалиц при их жизни, не мог упрекнуть этих обольстителей в жестокости. Искусители эти не водили дружбы с мужчинами, их не влекли ни спорт, ни карты, ни другие пороки. Для них единственными обитателями планеты были, без сомнения, женщины: женщины, которых они любили и которых бросали, за счет которых иные из них жили – преспокойно, не зная стеснения и не корысти ради. Но только эта праздношатающаяся разновидность, подробно описанная у Колетт, давным-давно перевелась,

а ее потомки, если таковые существовали, наверняка не изготовляли башмаков в окрестностях городка Роман.

– Нет-нет, – возражал Жером, – это твой дом – ты сам и покажи его Алисе. По-моему, ей придется по вкусу спальня в бледно-желтых тонах. Я зайду к вам через несколько минут, Алиса, – продолжил он, понизив голос, – пожелать вам спокойной ночи, если будет еще не слишком поздно и я вас не побеспокою.

Вместо ответа она улыбнулась. И, разомлев от усталости и неги, шагнула в разливавшийся по дому запах сушеных фруктов и воска, запах, который, она полагала, уже навсегда исчез из ее жизни. Вслед за Шарлем, который церемонно и безмолвно выступал впереди нее неторопливым шагом, заложив руки за спину, будто гид или агент по недвижимости, она прошла через большую залу, по-видимому гостиную, где на полу красовались шкуры пантеры с протертыми боками и стеклянными глазами, а по стенам – косо повешенные, сочащиеся киноварью портреты; затем через вестибюль, потом по лестнице, где дремали не потревожившиеся при их появлении охотничьи собаки. Потом наконец она достигла порога огромной квадратной спальни, по стенам которой вяли крупные розовые цветы, вымученные и блеклые, обрамляя широченную, накрытую стеганым одеялом ручной работы кровать, предназначенную для роженицы или для медового месяца. Но поначалу она увидела только полыхающий жарко, словно в разгар зимы, огонь в камине и бросилась к нему. И еще Алиса, больше всего на свете любившая живой огонь летом, распахнутые двери балконов зимой и купание в озерах под осенним дождем, бросила на хозяина дома – рикошетом, через зеркало, висевшее над камином, – заинтригованный взгляд: после ужина он отлучился всего на несколько минут, и, оказывается, именно для того, чтобы развести огонь, и именно в той комнате, которую Жером рекомендовал Алисе в самую последнюю минуту. Шарль смотрел на нее, она видела его силуэт у порога – видела отражение, – его подтянутую фигуру с заложенными за спину руками и, главное, взгляд, неторопливо скользнувший по комнате, окнам, огню, кровати, блистающему паркету, взгляд собственника, пресыщенного знатока, – этот взгляд остановился на ней, не изменив своего выражения до тех пор, пока не встретил в зеркале ее собственный: тут он моргнул. Она резко обернулась, в смущении и раздражении оттого, что он подсмотрел, как она за ним подсматривает, в приливе враждебности и даже злобы при мысли о том, что их заранее разработанные планы и шутливые прогнозы Жерома оказались такими верными, а его советы – излишними. И еще злило то, что теперь, когда она в кои-то веки рассчитывала быть полезной и желала этого, отведенная ей роль выходила такой незначительной или, по крайней мере, так мало от нее зависящей. В ней закипал старинный, давно позабытый гнев, извечный бунт женщины-вещи; желание этого мелкого буржуа, собственника, безмятежно-счастливого, довольного своей мебелью, своими домами, фабриками, любовницами, его взгляд, осмеливающийся и ее заранее причислить к предметам первой необходимости и роскоши, неожиданно привели ее в бешенство. Стой он ближе, она б его ударила. Но Шарль Самбра, не говоря ни слова, точно кто его предупредил, предостерег, широкими шагами пересек комнату, распахнул окно, раскрыл ставни и, высунув голову наружу, не оборачиваясь даже, произнес: «Глупость, конечно, но вы непременно должны это увидеть: сегодня, знаете, полнолуние. Потрясающее зрелище. Не забудьте посмотреть и загадать желание. И воздухом подышать», – уже ретировавшись к двери, добавил он, точно они весь вечер провели в подвале, а не в саду.

Алиса Файат заснула сразу после его ухода, позабыв и взгляд, и зеркало, и как она попала в эту комнату. В середине ночи, полупроснувшись, она вспомнила только крупного мужчину с большими руками, широким жестом распахнувшего ставни в черноту листвы, вырисовывавшейся на трепещущем темно-синем небе. И еще вспомнила, что на секунду мир пошатнулся от его руки, его голоса, смеха, его скромности и что она сама, Алиса, пошатнулась вместе со ставнями и опрокинулась в Млечный Путь, в тихую ночь, в сон и безопасность. Они с Жеромом уже год как скрывались. Весь этот год она боялась и презирала себя за это. И вот теперь,

стоя на скрипучем полу сельской спальни и слыша, как шуршит в ночи гравий под мохнатыми лапами собак, она на мгновение забыла, как хрустит гравий под сапогами и как однажды на рассвете захрустит, быть может, и здесь.

– Твоей приятельнице, похоже, дом понравился, – сказал Шарль, усаживаясь в кресло напротив Жерома: в опустившемся сумраке он различал теперь только его вытянутый силуэт, блеск глаз и белые руки, но он знал на память его угловатое тело, бледные глаза и волосы и чересчур тонкие черты лица. Все, вместе взятое, делало его в глазах Шарля таким же неприглядным, как и любого другого мужчину.

– А как тебе понравилась моя приятельница? – спросил Жером.

Шарль так и остолбенел. С того самого дня, когда он отвел Жерома, пребывавшего тогда еще в девственности, в публичный дом – кстати, это произошло на той же неделе, когда Жером отвел Шарля, уже тогда прозябавшего в невежестве, в Лувр (и надобно признать, что познание женщин сильнее сказалось на жизни одного, нежели открытие живописи – на жизни другого), – с того давнего времени они ни разу словом не перемолвились о своих многочисленных победах; в особенности Жером – он никогда не искал одобрения Шарля, тем более что Шарлю девушки друга казались очень скучными, хотя и красивыми. И надо же, чтобы именно теперь, после пятилетней разлуки, когда он привез к нему прекраснейшую, наиželаннейшую, единственную существующую отныне для Шарля женщину, чтобы именно в этот вечер Жерому вздумалось поинтересоваться его мнением! В первую секунду Шарль чуть было не выложил всю правду, едва-едва у него не сорвалось: «Алиса создана для меня, она моя, она мне нужна, я хочу ее, я ее люблю. Я жажду ее обольстить – хуже того, я жажду оставить ее себе. С твоей стороны было безумием привозить ее сюда. Пусть у меня только один шанс из ста, я все равно попытаю счастья». Однако он промолчал. Не из осторожности – из суеверия. Ведь он и сам не знал, на чем основан этот шанс, единственный из ста. Шарль, надо сказать, не слишком рассчитывал на свою внешность, вот уже более пятнадцати лет беспроигрышно приносившую ему успех. Он знал, что нравится женщинам, но это представлялось ему чем-то вроде справки о здоровье или временной визы, дозволявшей ему исследовать страну, но не обосновываться в ней постоянно. Полагая, что все мужчины уродливы, он воображал, что может нравиться женщинам только веселым нравом и умением наиполнейше разделять с ними физические наслаждения, каковые ставил превыше всего. Словом, красота его была исполнена такой скромности, что ненавидеть его не представлялось возможным. Те редкие женщины, которых он не желал, а также мужчины, которым принадлежали все прочие, даже и не помышляли в чем-либо упрекать Шарля Самбра. В разговорах с ним они выказывали эдакую снисходительность, пренебрежение, легкую рассеянность – мстили ему таким предельно пошлым, но и предельно осторожным способом за внимание, которое оказывали ему прочие женщины. Понемногу Шарль Самбра привык считать себя не слишком умным или, во всяком случае, считать, что ум не входит в число его основных достоинств; он безотчетно от этого страдал, словно от некоего безобидного увечья, над которым посмеиваются окружающие и которое вы сами за собой с улыбкой признаете, но которое иной раз причиняет вам неизъяснимую боль.

Жером хорошо знал в Шарле эту скромность тела и ума и, возможно, потому долгие годы терпел и даже любил его общество.

– Алиса неотразима, совершенно неотразима, – в конце концов ответил Шарль невыразительным голосом и после паузы, которая им обоим показалась затянувшейся, – Жером даже слегка заерзал в кресле, забеспокоился, вспомнив вдруг, что Алиса, несмотря на всю свою утонченность, все-таки женщина, а женщины, даже самые утонченные, редко остаются безразличными к Шарлю.

– Ну а как твое производство? – ни с того ни с сего спросил Жером, чем снова поверг Шарля в недоумение. Все, что касается производства, всегда вызывало в Жероме глубокое

отвращение или по меньшей мере наводило глубокую скуку. Это была одна из редких запретных тем в их беседах.

– Кожа, знаешь, нынче…

Он как будто оправдывался, и это насмешило Жерома.

– Скажи, Шарль, ты по-прежнему сомневаешься в своих деловых качествах? И все так же сомневаешься в своих интеллектуальных способностях?

– От меня их, знаешь ли, никто никогда не требовал, – ответил Шарль. – Разве что ты, когда пытался заняться моим образованием. Но это было давно.

Он закурил сигарету, обратив взгляд на Жерома, и тому показалось, что из темноты на него устремлены печальные и добрые глаза несмышленого животного. Жером даже на мгновение растрогался. Все, что говорил или делал Шарль, радушие, с каким он их принял, его веселый нрав, все его поведение подтверждали и даже полностью совпадали с той картиной, которую Жером рисовал Алисе, подготавливая ее к встрече. Жером заметил, как улыбалась Алиса, сличая описание с действительностью, и даже почувствовал себя чуть ли не виноватым, что глупо, в конце концов, ведь если для Шарля не существует иных запросов, кроме тех, что диктуются темпераментом, и иных устремлений, кроме собственного благополучия, то представить его красивым, обходительным и посредственным ничуть не пошло. Пошлой была реальность, пошлым был Шарль, и он, Жером, тут ни при чем.

– Ты умный, Шарль, но живешь среди кретинов – где ж тут сохранить интеллектуальные способности? У тебя всегда были одни и те же дружки: лионские бармены, здешние лекари, всякие там игроки да бабники. Ты все так же неразборчив, старина.

– А ты все так же высокомерен? – прервал его вдруг Шарль, да так резко, что Жером прикусил язык. Как это он забыл, что вялому, умиротворенному и, казалось бы, неглубокому уму Шарля случалось блистать вспышками интеллекта и иронии?

Так или иначе, Жером в тот вечер менее всего собирался выяснять отношения: он нуждался сейчас в дружбе Шарля и его поддержке, ему важно было не потерять в нем друга и приобрести сообщника.

– Не сердись, – сказал он. – Я неправильно выразился. Я не вкладывал ничего уничижительного в слово «неразборчив».

– Вкладывал, – ответил Шарль. – И я тоже вкладывал, когда говорил «высокомерен». Но мы же всегда друг друга в этом обвиняли, так что бог с ним, поговорим о чем-нибудь еще.

Наступило молчание, потом Жером рассмеялся своим неуверенным, смущенным, юношеским смехом, а Шарль подхватил с величайшим облегчением – не потому, что дорожил мнением Жерома о себе – оно было ему глубоко безразлично, – а потому, что безрассудная ярость закипала в нем и росла с каждым часом, с каждой минутой, пока он смотрел на белобрысого мужчину, студента-перестарка, который сейчас поднимется и ляжет – неизбежно, неминуемо – в белоснежную постель Алисы. Прикоснется к ней, обнимет, разбудит. Вот этот мужчина, сидящий в двух метрах от него и называющийся его другом, ляжет на ее такое гибкое, такое тонкое тело и станет целовать ее серые-пресерые глаза, черные-пречерные волосы и, главное, губы, красные-прекрасные. Губы, обрисованные четкой каймой, будто бы запружавшей в них наполняющую их кровь, приливы и отливы которой делали их такими красными и полными.

Шарль знал, что если он прижмется губами к этим полным губам, то почувствует, как в них, точно в сердце – незнакомом, независимом и бешено стучащем, – бьется теплая, соленая и сладкая кровь этой женщины. Да, он ненавидел Жерома. Уж лучше б он их сразу выставил вон из своего дома, порога бы переступить не позволил, нежели ввергать себя в ночные фантазии и видения, на которые он теперь обречен. Выставить их сейчас мешала ему отнюдь не давняя дружба и не воспитание, а надежда, безумная надежда, смертельное желание самому в один прекрасный день очутиться с Алисой на этой кровати под стеганым одеялом ручной работы. Если бы когда-нибудь ему представилась такая возможность, он, Шарль, не стал бы рассижи-

вать со старым приятелем и лепетать банальные фразочки. Он давно был бы уже наверху, склонился бы над своим двойником, своей женой, сестрой, дочерью, любовницей, возлюбленной. Он не сидел бы здесь, не разглагольствовал бы о всякой ерунде с чужаком, убогим калекой, короче – с мужиком.

Желание его, по всей вероятности, было заразительным: Жером потянулся в кресле, демонстративно зевнул, распрямил колени. Он собирался встать, и Шарль отчаянно искал способ его задержать: политика, ну разумеется, только политика! Жером, несомненно, был за или же против Петена, а учитывая, что Петен воплощал установленный порядок, – скорее всего, против, даже наверняка.

– А что ты думаешь о Петене? – спросил Шарль.

Спросил беспечным тоном, откинувшись в кресле и не глядя на Жерома из опасения, что тот застигнет его врасплох и разгадает. Не утратив охоту делать глупости, Шарль не перестал, однако, заботиться о том, чтоб они оставались незамеченными. Разменяв четвертый десяток, он даже начал всерьез об этом беспокоиться. Итак, не видя Жерома, он почувствовал, как тот расслабился, снял руки с подлокотников, уселся поплотнее. В то время как Шарль радовался своей находчивости, Жером радовался своему терпению. Наконец-то он узнает, как эволюционировали взгляды Шарля.

– По правде говоря, я ничего особенно хорошего о нем не думаю. А ты? – спросил он осторожно.

– Не так уж он плох, не так уж плох, – заговорил Шарль, обретя вдруг бодрость и словоохотливость. – Да, да, я нахожу, что он вовсе не плох, – в общем-то, он избавил нас от худших бед.

Жером заставил себя дышать размеренно; такого рода разговоры ему приходилось выдерживать в Париже последние два года и уже года три-четыре выслушивать, что Гитлер, в сущности, просто истинный немец, заботящийся о благе своей страны; временами он даже опасался, что в один прекрасный день не вынесет и вцепится в горло кому-нибудь из таких собеседников. Изрекавшие эту чушь – кто по невежеству, кто из лицемерия – заботились в первую очередь о собственном благополучии и душевном покое, что больше всего и возмущало Жерома.

– Стало быть, ты считаешь, что наша беда не так велика? – спросил он, сдерживаясь и даже силясь изобразить заинтересованность.

В ответ Шарль повел рукой, словно призывая взглянуть на дом, луга и холмы, на себя самого, стройного и сытого, на все, что он сохранил в неприкосновенности и что радовало глаз, несмотря на потоки крови, заливавшие Европу.

– Ну я, как ты знаешь, живу в свободной зоне, – сказал он, – возможно, здесь все иначе. А что такого ужасного творится в оккупированной? Я слыхал, что германцы ведут себя пристойно.

– Бывает, в самом деле, что кто-нибудь из них уступит место старушке в автобусе, – отвечал Жером, – и все не нарадуются, и все переглядываются, будто поздравляя друг друга с тем, что выбрали хорошего оккупанта. А в это самое время их тайная полиция, СС, гестапо забирают без разбору евреев и коммунистов и отправляют всех скопом, включая женщин и детей, в лагеря, откуда никто не возвращается.

Шарль подметил, что Жером говорит чуть срывающимся, севшим от негодования голосом, и убедился, что избрал правильный путь – так он, глядишь, продержит Жерома до рассвета. Если действовать осторожно, не заходя слишком далеко, он имел на то все шансы.

– Ты говоришь «никто не возвращается», а на самом деле просто еще не вернулись – следует, видимо, подождать окончания войны. Существует еще Англия и, слава богу, Соединенные Штаты, и другие тоже вмешаются. Не будут же они, в конце концов, сидеть тут всю жизнь, – парировал Шарль, тоже вдруг с раздражением. – Ты сам посуди, они ж не могут жить

в двух странах одновременно: дома их ждут жены, надо делать им детей для фюрера, а они будут целую вечность околачиваться в Париже и Версале?

– Я думаю, что будут, вообрази. Они уже отняли детей от материнской груди, поместили их в свои специальные школы, откуда юноши выходят строем – и прямиком в армию, сменять старших на поле боя и в оккупированных городах. Охранники наши, так сказать тюремщики, станут моложе, но, будь спокоен, они никуда не денутся. Пока в нашей прекрасной Франции будет что грабить и кого убивать, они отсюда не уйдут.

– Да, грабить они умеют, – признал Шарль – хоть с чем-то согласился. – Ты даже и представить не можешь, из чего только я вынужден делать обувь: из соломы, из дерева, из отходов резиновой промышленности, из старых шин – просто жуть что такое! Да, старина, скажу тебе, грабить они умеют! Во всей Европе ни клочка кожи не осталось.

Воцарилось молчание, потом Жером неожиданно поднялся с усталым видом.

– Видишь, вот мы и договорились, – заключил он. – Захватчики грабят нас, но когда-нибудь они отсюда уберутся, если только их дети не придут на смену! Замечательная перспектива; нравится тебе – на здоровье! А я пошел спать.

– Ну погоди, погоди, – удрученно залепетал Шарль. – Вот уж и поспорить нельзя! Не горячись так!

Жером стоял перед ним, переминаясь с ноги на ногу. Он выглядел усталым и немного озадаченным и, как показалось Шарлю, смотрел на него, словно видел впервые, отчего Шарль невольно опустил глаза.

– Так вот каким ты стал, Шарль? – Жером заговорил неожиданно юным голосом – впервые со времени их приезда заговорил откровенно. – Вот каким ты стал! Ты страдаешь, когда тебе не хватает кожи на ботинки, а что малых детей увозят на край света, потому что у них не та горбинка на носу, – это тебе безразлично? Вот до чего ты дошел? Но ты хоть слышал о еврейских погромах или нет? На евреев тебе наплевать, да?

Шарль с негодованием вздернул голову:

– Тихо, Жером, успокойся. Ты прекрасно знаешь, что для меня не существует евреев и никогда не существовало – я даже не знаю, что это такое и чем они отличаются. Если выяснится, что ты еврей или что я еврей, меня это нисколько не взволнует: я не вижу разницы. Это ты, по крайней мере, понимаешь, Жером?

– Возможно, – отвечал Жером, – возможно, в самом деле ты не видишь разницы, но они-то видят, понимаешь, видят, и огромную. Еврей для них не немец, он не ариец, а следовательно, не имеет права на существование. Понимаешь ты или нет?

– Ты преувеличиваешь, – машинально возразил Шарль. – Послушай, сядь, пожалуйста, а то у меня голова кругом идет, о таких вещах не говорят на ходу, стоя на одной ноге. Сядь, говорю, – настойчиво повторил он. – Сядь, черт побери, мы пять лет не виделись, и ты не можешь поговорить со мной пять минут! В общем-то, знаешь, – продолжил он, – я одинок, мне не больно весело живется с тех пор, как ушла Элен.

И сам уже всерьез проникся жалостью к себе, почувствовал, как у него сжимается сердце от того портрета, который он нарисовал Жерому. Позабыл, как с облегчением вздохнул после отъезда Элен, как радовался, как пустился в разгул по всем окрестным городкам на своем стареньком автомобиле. Позабыл о Лали, о киоскерше из Верона, о мадам Маркес, о… короче, проявил черную неблагодарность. Он проявлял неблагодарность, он лгал, а Жером, судя по недоброму, саркастическому смешку, прекрасно это видел. Смешок смешком, но он снова сел, а Шарлю только это и нужно было.

– Помилуй, – отозвался Жером, – помилуй, Шарль, это же я! Очнись: это я, Жером. Элен – дура набитая. Как она там поживает, в Лионе? Ты что-нибудь о ней знаешь? В жизни подобной зануды не встречал. И где только ты, Шарль, откопал такую интеллектуалку? Что это на тебя нашло?

– Она воображала из себя бог весть что, – отвечал Шарль печально, глядя на свои ногти, что обычно означало у него пристыженность. – Она воображала, ну а я счел ее неотразимой! Понимаешь, в то время я не знал, куда себя девать, ты был в Париже, учебу я бросил, из-за твоей скарлатины мы не уехали на войну в Испанию, – короче, я влюбился, ну, во всяком случае, мне показалось, что влюбился. Вот. А поскольку она была из тех, на ком женятся, я и женился. А поскольку я ей не подходил, она уехала. А когда она уехала, я остался один и стал бегать за бабами, но это не означает, пойми, что я не одинок.

– Ты сейчас говоришь: одинок, а все остальное время думаешь: свободен, – безжалостно возразил Жером. – Ты создан, ты рожден для того, чтобы быть свободным двадцать три часа в сутки и полчасика чувствовать себя одиноким.

– Послушай, – жалобно протянул Шарль, – ты что, приехал мне нотации читать? А?

– Нет, – отвечал Жером, – я приехал совсем не для того, чтобы читать тебе нотации! И вообще, я пошел спать!

Сейчас он встанет, собака, сейчас уйдет! Нет, только политика, его интересует, как всегда, одна политика. И Шарль затараторил:

– Я, понятно, моральный аспект не беру, но скажи, Жером, ты в самом деле считаешь, что в нацизме нет ничего привлекательного?

Он, разумеется, перегнул палку – сам это чувствовал, – но выбора не оставалось. Либо пороть несусветную чушь, либо в течение часа или полутора – он не знал, сколько времени продлится его бессонница, – воображать Жерома в объятиях Алисы, воображать, как Алиса раскрывает объятия Жерому, прижимает его к себе, целует щеки, глаза, рот. Нет, нет, нет и нет – это невозможно.

– В нацизме? – переспросил Жером как будто издалека. – В нацизме? Ты что, рехнулся? Да ты понимаешь, что такое нацизм? И вообще, разве мы не были всегда одного мнения по этому вопросу?

– Я размышлял, – проговорил Шарль, – я думал, словом, я задаюсь вопросом: эта теория, которая провозглашает порядок и сверхчеловека, понятно, что она вроде как не очень демократична, но, может, следует иногда, в трагические времена, прибегать к жестоким средствам? Говорят, цель не оправдывает средства, и ты тоже так считаешь, но, может, следует иногда, я не знаю…

Жером чуть повел головой, отсвет из окна упал на его лицо: оно сделалось еще бледнее, чем давеча, если такое возможно. Должно быть, он и в самом деле крепко устал: он выглядел изможденным, бедняга Жером! Шарль вдруг разжалобился. Если б не Алиса, великолепная, прекрасная, неотразимая Алиса, как радовался бы он встрече с другом, с каким бы удовольствием повез его кутить и куролесить к мамаше Пьеро в Валанс, к доктору Лефебюру в Роман, и Жером хочешь не хочешь смеялся бы! Ведь Жером, что бы он там ни говорил, тоже умел смеяться, по крайней мере прежде. Не следовало перегибать палку! Жером знал его достаточно хорошо, они вместе не раз говорили о политике и вместе собирали чемоданы в Мадрид.

– Конечно же я не люблю нацизм, я ненавижу нацизм, и ты это знаешь, просто я подумал, нет ли в нем чего-нибудь хорошего, полезного, что ли, для немцев после стольких лет нищеты и голода. Я подумал, может, Гитлер им, как бы это сказать… помог в повседневной жизни, понимаешь?

– Что ты называешь повседневной жизнью?

В голосе Жерома, почти неразличимого теперь в ночи, звучала подавленность и горечь. Это был голос зрелого человека, и Шарль, к своему удивлению, вдруг почувствовал себя стариком. Почувствовал себя стариком впервые в жизни, ровесником своего собеседника, этого зрелого мужа, говорившего о мировых проблемах, о людских бедствиях, о бремени, об ответственности и, разумеется, возлагавшего ответственность и на него, на Шарля, тоже. Шарль не сомневался, что Жером считает его, как и себя, ответственным за страдания еврейских детей.

А ведь, видит Бог, он тут ни при чем, черт побери! Жером просто невыносим, вечно он втягивает Шарля в переделки, в безысходные ситуации, правда, слава богу, и себя самого тоже как честный человек. Но сегодня, пока он будет выпутываться, встанет розовоперстая заря, и Алиса проспит ночь одна!

Он отыскал в кармане сигарету, закурил и веселым голосом спросил:

– А почему ты, собственно, так уверен насчет еврейских детей?

Вот так, желая как можно дольше удержать Жерома на расстоянии от Алисы, Шарль далеко за полночь пробеседовал с ним о политике. И упорно, с убежденностью, которой не испытывал, отстаивал заслуги маршала Петена и благовоспитанность оккупантов. Лишь перед самым рассветом он с облегчением, с ликующей душой расстался с Жеромом, совершенно расстроенным и удрученным его абстрактными разглагольствованиями, которые он, Жером, обычно от Шарля даже и не давал себе труд выслушать.

# Глава 2

Алиса проспала как убитая, ни разу за ночь не проснувшись, словно бы даже и во сне ее тело ощущало себя в безопасности. Открыв глаза, она почти не удивилась и неторопливо оглядела просторную сельскую спальню. На утомленные цветы обоев сквозь неплотно притворенные ставни лились лучи не по-весеннему яркого солнца, майского солнца сорок второго года. До нее доносились звуки, совсем непохожие на городские. Вдалеке неравномерно щелкал секатор: кто-то подрезал деревья. Низкий, неразборчивый мужской голос спорил со смешливой женщиной, отчаянно кудахтали куры на соседней ферме. Только ропот реки, протекавшей за лугом, звучал постоянно. Закрыв глаза, Алиса представляла себе людей, их движения, разнообразные и отчетливые, и находила удивительное отдохновение после глухо урчащей, безымянной суеты, в какую погружен Париж.

Она протянула руку к часам. Было уже одиннадцать. Она проспала двенадцать часов и чувствовала себя превосходно, великолепно. Она готова была месяцы, годы пролежать на этих грубоватых простынях, в комнате, где со вчерашнего вечера витал еще запах огня в камине. Но Жером, наверное, уже поджидал ее внизу вместе со своим оригиналом-приятелем, донжуаном из Дофине.

Алиса встала, распахнула ставни. Осененная платанами площадка перед домом дремала на солнце. Чуть дальше среди тополей поблескивал пруд. Вчерашние кресла-качалки оставались на своих местах. Только кофейные чашки на железном столике сменились подносом с завтраком. Разглядев поставленные прямо под окном хлеб, масло и варенье, она ощутила, что умирает с голоду. Из-за угла дома появился Шарль. Он поднял голову, точно на зов, и заслужил ее радужную улыбку.

– Уже проснулись?

Он стоял внизу, под ней, уперев руки в бока, задрав голову, и глядел на нее с такой неподдельной радостью, что не улыбнуться было невозможно. Вдобавок он был красив: расстегнутый ворот рубашки, загорелая шея, копна черных, блестящих на солнце волос, влажные карие глаза, белые зубы. Он походил на очень красивого и очень здорового зверя и еще на счастливого человека, – возможно, в сущности, он и был не кем иным, как просто счастливым человеком. Возможно, он обладал особым даром – быть счастливым, а Алиса в глубине души всегда восхищалась этой редчайшей категорией избранных.

– Я спала как убитая, – отвечала она. – Утром ваш дом еще красивее, чем вечером.

Наступило молчание. Улыбаясь, откинув голову назад, Шарль смотрел на нее и всей своей наружностью выражал удовлетворение тем, что видит. Он выдержал паузу, а потом спросил:

– Вы не проголодались? Я принесу вам завтрак наверх.

– Нет, нет, – отвечала Алиса, отпрянув от окна. – Не беспокойтесь, я сейчас спущусь.

С этими словами она юркнула в кровать, застеснявшись прозрачности своей ночной рубашки.

– А где Жером? – глупейшим образом крикнула она в сторону окна.

Ответа не последовало. Укладываясь, она смеялась тихим, неудержимым смехом. Завтрак Алисы Файат, остерегающейся авансов услужливого кожевенника! Ей было тридцать лет, и расстрел угрожал ей с большей вероятностью, чем насилие. Так отчего же она, словно перепуганная девчонка, бросилась прятаться под одеяло? Бред!

– Ну вот! – произнес Шарль Самбра, протискиваясь боком в дверь с огромным подносом в руках. – Еще одно чудо: я ничего не опрокинул! Я поставлю его вам на колени? Вы действительно пьете чай? Или Жером снова попытался навредить мне в ваших глазах?

Он поставил поднос на колени Алисе, сам присел у нее в ногах на краешек кровати, налил ей чаю, протянул сахар, начал было намазывать хлеб маслом, но неожиданно бросил и с наслаждением закурил.

* * *

Алиса упивалась давно позабытым вкусом хорошего чая, куска масла на тарелке, белого – почти что – хлеба. Она позабыла чуть ли не обо всем на свете. Теперь она видела в Шарле только щедрого дарителя всех этих несказанных благ; она ела, пила, не произнося ни слова, и взгляд ее, хотя и приветливый, был устремлен куда-то далеко.

А Шарля Самбра, сидевшего с сигаретой в уголке губ совсем как в гангстерском фильме, распирали гордость и удовольствие.

– Вы курите, как бандит в кино, – сказала она неожиданно.

Он взглянул на нее обеспокоенно, с обиженным видом вынул сигарету изо рта.

– А вы – вы едите, как проказница Лили. У вас варенье на подбородке и, похоже, еще яичный желток.

– Не может быть! – вскричала Алиса в ужасе. Она приподнялась и принялась изо всех сил тереть лицо салфеткой, безо всякого, впрочем, результата, пока он не расхохотался, довольный собственной шуткой.

– Это неправда! – воскликнула она. – Вы вдобавок еще и лжец!

– Вдобавок к чему?

Она осеклась и замолчала, и Шарль продолжил сам:

– К тому, что я лентяй, эгоист, буржуа и фашист?

– Почему фашист? – удивилась она.

– Ага! Из этого следует, что вы не виделись с Жеромом со вчерашнего вечера, – отвечал он, удовлетворенно и даже как бы одобрительно покачивая головой, чем привел Алису в замешательство. – Я всю ночь до зари изображал фашиста и коллаборациониста. И все для того, чтобы помешать ему… словом, чтоб он вас не будил. Я думал, лучше вам поспать спокойно… – пробормотал он, – с дороги, и потом – перемена климата…

Алиса откинулась на подушку.

– Жером был, верно, вне себя, – сказала она невозмутимым тоном. – Он не переносит фашистов. И никак не может смириться с тем, что в Париже теперь повсюду натыкаешься на немецкую форму.

– Я бы тоже с ума сходил! – сочувственно поддакнул Шарль. – Уверяю вас, когда б не важные дела, я бы тоже непременно поиграл бы в партизана с мушкетом двоюродного дедушки.

Алиса глядела на него, чуть мигая от яркого света. «Очаровательна, – думал Шарль растроганно, – очаровательна – не то слово».

– Вот как, – сказала она и, как подметил Шарль, в десятый раз намазала маслом один и тот же кусок хлеба. Туда, сюда, с одной стороны, с другой. – Вот как… А что же за важные дела мешают вам поиграть с мушкетом?

– Я должен управлять семейной фабрикой, – ответил он сумрачно. – Эта фабрика кормит восемьдесят человек: рабочих, их жен и малолетних деток; кроме того, акционеров и моих родственников; в придачу еще меня самого. Но что об этом: женщины от подобных разговоров умирают от скуки.

– Потому что женщины не созданы для дел – им больше пристало говорить о детях и сидеть дома, так? – спросила Алиса и положила на поднос бутерброд, к которому так и не притронулась, положила очень аккуратно – будто сама боялась, что запустит его ему в физиономию, подумал Шарль.

– Вовсе нет! Нет! – отвечал он убежденно, с горячностью. – Женщины, напротив, созданы, чтобы выходить в свет, ходить по улицам, нравиться мужчинам, сводить их с ума, разбивать им сердца. Они созданы для того, чтобы плавать на судах, ездить на поездах, бывать повсюду и повсюду кружить мужчинам голову. Нет, им совсем не пристало сидеть дома… Вот уж чего я никогда не говорил!

– Вероятно, потому ваша жена и живет в Лионе без вас? – неожиданно для нее самой сорвалось у Алисы, в то же мгновение она почувствовала, что краснеет, и поднесла руку к лицу, словно хотела себя ударить. – Простите, – проговорила она, – я не хотела, я не подумала…

– Моей жене было со мной скучно, – спокойно ответил Шарль. – Она очень любит общество, а здесь, понятно…

И повел рукой в сторону окна и полей, где, разумеется, народу было немного. Он нащупал в кармане сигареты, достал одну, постучал ею о пачку, не поднимая глаз. И все-таки он успел заметить, как сильно побледнела Алиса, и испытать от этого удовольствие.

– Не знаю, что это на меня нашло, – проговорила она тихо. – Я сказала ерунду, грубость. Вы не сердитесь, Шарль?

И поскольку вместо ответа он уставился на простыню, он увидел, как тонкая рука с длинными пальцами и длинными овальными ногтями потянулась в его сторону, к его руке, так и лежавшей на пачке сигарет, и успел сравнить ту, хрупкую кисть и свою, могучую, ту, белую, и свою, покрытую загаром, прежде чем почувствовал, ощутил всем телом прикосновение мягкой и теплой кожи… и все это за секунду, за миг до того, как в комнату вошел Жером, и узкая рука Алисы отдернулась так виновато, что Шарль испытал восторг, восторг и шок одновременно, – а через мгновение, через полсекунды он уже вскочил на ноги и демонстративно встал на почтительном расстоянии от Алисы, будто нарочно подчеркивая, подумалось Алисе, что у них от Жерома существует тайна, что, дескать, они провинились.

Где ему, бедняге, было знать, что Жером и не собирается ревновать и что сладкие любовные баталии бесконечно далеки от той борьбы, в какую погружен он. Оценить это могли только сам Жером и Алиса. Она искренне удивилась, заметив, как Жером залился краской, что служило у него верным признаком гнева или смущения.

– Мы говорили о бутербродах, – солгал Шарль безо всякой необходимости, намеренно солгал при ней, вовлекая и ее в эту ложь и делая ее в еще большей степени – если бы такое было возможно – своей сообщницей.

Хоть он и напрасно старается, думала Алиса, для провинциального соблазнителя он весьма утончен. И угрызения совести, которые она испытала секундой раньше от своего вульгарного выпада относительно его семейной жизни, растроганность его скромной и простодушной реакцией тотчас уступили место ощущению иного рода, пронзительному и настороженному, которое, впрочем, тоже мгновенно рассеялось, поскольку мужчины уже весело дурачились, изо всей силы хлопали друг друга по спине – точь-в-точь мужики из довоенных фильмов о деревенской жизни.

– Ну что, старина, – говорил Шарль, – хорошо спится в деревне? Птички разбудили? Тебе небось не хватало шума мусорщиков или, может, еще топота нацистских сапог под окнами на бульваре Распай? Хайль бум, хайль шнель пум-пум-пум-пум-пум. Ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, хайль Гитлер, ein, zwei, пум-пум-пум…

И он, болван, еще смеется, подумала Алиса. Он смеялся и даже заговорщически ей подмигивал, словно антипатия Жерома к немцам была всего-навсего легким капризом, забавной причудой. Жером, со своей стороны, только присвистывал, точнее, выдувал со свистом воздух, безо всякой мелодии, с отчаявшимся и стоическим видом человека, принужденного к молчанию. В сущности, выглядел комично… Комичной была его физиономия, нарочито вытянувшаяся от жутких, чудовищных, неосознанных, возможно, но все же прискорбных глупостей, какие изрекал его сверстник, его лучший друг Шарль. Ха! Эти два балбеса и впрямь созданы

друг для друга! И Алиса расхохоталась, поначалу просто нервно, но уже в следующую секунду что-то в ней надломилось: в силу простой звуковой ассоциации идиотские «пум-пум-пум» и два жалких немецких словечка, которые Шарль произнес до смешного осипшим голосом, разом сделали мрачным, устрашающим, ужасным все вокруг – и солнце, и завтрак, и мужчин, стоявших у ее ног, и зеленые ветки в окне, и свет дня. Алиса поднесла руки к лицу, зажала рот, будто сдерживая крик, перевернулась и уткнулась носом в подушку.

Наступило молчание. Алиса еще смеялась, но отрывисто, точно всхлипывала. Мужчины застыли и уставились на нее.

– Выйди, – прошипел наконец Жером, даже не глядя на Шарля, а тот, не взглянув на него, развернулся и вышел из комнаты.

Жером сидел на кровати, левой рукой он обнимал Алису за плечи, правой гладил ее по волосам. Он говорил очень тихим, очень спокойным голосом. Голосом, хорошо знакомым Алисе, умиротворяющим, привычным к ее неожиданным приступам отчаяния, нежным и внимательным голосом отца и брата, кем он и стал для нее за последние два года. Она в очередной раз призналась себе, что предпочитает этот голос другому – более высокому, взволнованному, юному – голосу любовника. И она продолжала рыдать, теперь уже от раскаяния и печали.

Чинно плывущее по небу солнце перевалило через дерево и легло на не прикрытую одеялом правую руку Алисы, свисавшую с кровати вне поля зрения Жерома и вне его тени; Алиса ощутила на руке сухое жгучее солнечное тепло и даже каким-то таинственным образом распознала, что тепло это было ярко-золотисто-желтым. На дворе стоял ясный день, и все было хорошо. Она обернула к Жерому припухшее, обезображенное слезами лицо, которое она уже больше не стыдилась ему показывать. Жерому гораздо чаще доводилось утирать ей слезы, нежели слышать ее смех – что ж, по крайней мере в это утро он получит и то и другое.

– Простите меня, прости меня, – оправдывалась она. Они были близки полгода, но прежде еще полтора прожили вместе под одной крышей, и Алиса иногда забывала говорить ему «ты», хотя Жером этим очень дорожил, несмотря на то или как раз потому, что она никогда не обращалась к нему на «ты» при посторонних.

– Это ты должна меня простить, – сказал Жером. – Шарль – гнусный тип. Я сам во всем виноват, я не должен был тебя сюда привозить. Я и не подозревал, что он сделался таким мерзавцем.

– Почему мерзавцем? – удивилась Алиса. – Он многого не понимает, не осознает, он поразительно неловок, но…

– Ты представить себе не можешь, что он мне наговорил ночью, – резко оборвал ее Жером. Он встал и принялся расхаживать по комнате. – С меня довольно, я тебе скажу! Вечная песенка: немцы в конце концов уберутся, вопрос времени, и вообще они ведут себя вполне прилично, насчет евреев – это все пропаганда, ну а Петен… вот, цитирую: «Петен, в общем-то»… погоди, сейчас вспомню… да, вот… «Петен – славный поистаскавшийся старикашка». Почему ты смеешься?

– Ай-ай-ай! – На этот раз Алиса смеялась от души. – «Славный поистаскавшийся старикашка»! Сказал тоже! С ума сошел! На самом деле ты всего не знаешь! Он тебя вчера одурачил. Он не хотел… Ха-ха-ха… – прыснула она, поймав на лету едва не опрокинутый поднос. – Шарль твой просто умора… Он не хотел, чтобы ты шел ко мне, – вот и все! Он бы тебе и «Horst Wessel Lied» спел, если б ты захотел… лишь бы задержать тебя подольше. Правда, правда: он мне, можно сказать, признался.

Оторопелый вид Жерома только пуще рассмешил Алису. Она уже начала успокаиваться, но, когда он, воспользовавшись ее молчанием, поднял руку, словно хотел выступить на собрании, Алиса его опередила.

– Это правда, – сказала она. – Так что первая часть твоего плана, считай, удалась. Обольстить – я его уже обольстила! Впрочем, мне нечем особенно гордиться: несчастный парень живет один в деревне… Тут любая женщина сгодилась бы.

– Ты шутишь? – воскликнул Жером с раздражением. – Шарль одинок? Шарль неприкаян? Да у него две любовницы в деревне в пяти километрах отсюда, три – в Валансе, еще две – в Гренобле, а в Лионе, наверное, дюжина! Не смеши меня. И поверь, дорогая моя, если он и обольстился, то никак не из-за отсутствия выбора – уж я-то знаю.

– Ну что ж, ты меня успокоил, – равнодушным голосом сказала Алиса. – Если он полюбил во мне человека, а не просто самку, мы спасены. И потом, для меня это все-таки более лестно…

Она потянулась, простерла руки к окну, к солнцу, глубоко вдохнула, выдохнула, и во всех ее движениях сквозило такое физическое блаженство, какого Жером никогда у нее не видел. Он улыбнулся. Его улыбка выражала и смущение, и тревогу, и одновременно счастье оттого, что счастлива она, а потому она вдруг замерла и посмотрела на него очень серьезно. Глаза ее, еще красные от слез – слез, вызванных смехом, и слез, пролитых от страха, – исполнились нежности, которую он подметил прежде, чем она развернула к нему параллельно вытянутые руки, коснулась его, обняла за шею, притянула к себе на плечо. «Ах, Жером, вы любите меня, Жером», – говорила она, задыхаясь, с интонацией, явно не содержащей вопроса, но в то же время лишавшей его всякой возможности указать ей на отсутствие словечка «ты», которое он так ценил. Он распрямился, или, может, это она его незаметно оттолкнула – он никогда не понимал, каким образом и когда именно прерывались их объятия.

– Ну ладно, – сказала она, – перейдем к вещам более серьезным. Позабудем на минуту нашего донжуана. Что место? Действительно ли оно нам так подходит, как это рисовалось тебе в воспоминаниях?

– Место превосходное, – кивнул Жером, – превосходное. – Он начал говорить нехотя, словно сожалея, что оторвался от плеча Алисы, но постепенно оживился. – Превосходное: вообрази, демаркационная линия в двадцати пяти минутах отсюда, всего в двадцати пяти километрах – сущие пустяки. Поезд идет по холму, по верху склона, стало быть, со скоростью пять километров в час – любая старушка может спрыгнуть или запрыгнуть в него с легкостью молодой козочки. Ближайшее селение в пяти километрах, в нем восемьсот жителей, славный в основном народ, значительная часть работает на Шарля, они его любят, потому что он «хорошо платит и не гордый». Вся жандармерия состоит из одного парня, который иногда проезжает тут на велосипеде, живет один на ферме неподалеку, раз в три недели заглядывает перекинуться словечком к Шарлю. Они распивают бутылку бордо (иногда две, иногда три), а вино, как известно, развязывает язык. Ближайший городишко, Роман, – в двадцати километрах. Шарль туда ездит и коробки свои возит – для этого у него есть один маленький грузовичок, три больших и собственный легковой автомобиль. Наконец, местность тут лесистая, гористая и труднодоступная. Что касается менталитета здешних обитателей, я его немного знаю, поскольку проводил каникулы у Шарля. Народ мирный, прижимистый, но не злой. Полагаю, что слово «антисемит» им незнакомо.

– Ну а ты представляешь себе, – вздохнула Алиса, – ты представляешь, сколько евреев можно переправить сюда, в этот дом, потом на поезд, дальше – на другой, потом на автомобиле и, наконец, по морю… Море, корабль, мир и покой. Ты думаешь, мы сможем это осуществить, Жером, думаешь, у нас получится?

– Безусловно, – засмеялся Жером, – безусловно, получится. А что мы делали все последние годы?

– Делал ты. Я никогда ничего не делала – ты сам знаешь; я никогда никому не помогала – всегда только мне помогали. А вот ты – ты всем все время помогал.

* * *

Жером нисколько не гордился своей жизнью, не был высокого мнения о своей особе. Он был всегда в числе опоздавших, всегда всего боялся и перебарывал свой страх, отступал на шаг перед тем, как прыгнуть, и вообще перед всем, что его страшило, – он был обделен умением жить – таким вот увечным и родился, со скептическим умом и переполненным сожаления и тоски сердцем, родился разочарованным, встревоженным и влюбленным. Даже если бы он знал, что Алиса никогда его не разочарует и что он сам будет любить ее всегда, даже если бы он знал, что ему придется смертельно страдать от этой любви, он понимал, что таков его удел и что мечта о счастливой любви к женщине, которая бы только о нем и грезила, – эта мечта не имеет к нему никакого отношения и рождена в сновидениях другого человека.

Он встряхнулся.

– Для начала надо убедить Шарля, – сказал он с улыбкой. – Он должен смириться с тем, что его завод может быть сожжен, рабочие расстреляны, он сам – подвергнут пыткам, его дом – обращен в пепел. Он должен смириться с тем, что он все это ставит на карту, если хочет сохранить наше уважение.

– Или мою благосклонность, – вставила Алиса.

– Или надежду заполучить твою благосклонность, – поправил Жером.

– Словом, мы должны потребовать от него все и не дать ничего. Так, по-твоему? И ты думаешь, это получится?

– Безусловно, – отвечал Жером. – Такие мужчины, как Шарль, готовы на все ради женщины, которая им сопротивляется. Сопротивление удесятеряет их желание. И напротив, если она уступает…

– Уступать, уступать – какое скверное слово, – сказала Алиса, – пораженческое.

Жером нервничал.

– Ты сама прекрасно знаешь: чтобы жертвовать всем ради женщины, иным мужчинам необходимо испытывать неутоленный голод, быть отвергнутыми…

– Или обласканными, – протянула Алиса.

И отвернулась. Она улыбалась той двусмысленной улыбкой, какую он помнил по Вене, где встречал ее в обществе еще до ее болезни. Улыбкой загадочной, от которой мужчины цепенели, когда Алиса проходила мимо, застывали на месте и смотрели ей вслед, раздувая ноздри, словно она источала какой-то диковинный, неведомый, но узнаваемый ими запах. Удивительная эта улыбка, которая в свое время заворожила Жерома и которая сегодня снова вселяла в него страх.

– Ну, полно… – усмехнулся он, беря Алису за руку и вытаскивая ее из постели. – Мы уже начинаем жонглировать словами, мы не для того сюда приехали, чтобы играть в «опасные связи».

– Ах, боже мой, вы совершенно правы, – засмеялась Алиса. – Вы заметили, как ощущаешь себя смешным, если только начинаешь говорить о чем-нибудь, кроме войны. Какой ужас! Будьте добры, Жером, позвольте мне одеться и проведайте беднягу Шарля: он, должно быть, сидит где-нибудь в саду и убивается. Скажите ему, что мое отчаяние было вызвано вовсе не его пум-пумами, что он никакой оплошности не допускал и мои истерические рыдания не имеют к нему никакого отношения. Или нет, лучше наоборот! Начните рассказывать ему о моей печальной жизни, а продолжение я ему сама нашепчу. Бегите, Жером, летите, но не мстите. Я сейчас встану, оденусь и умчусь в луга.

# Глава 3

Шарль сидел на крыльце, у ног его лежала собака, но сидел он в непривычной для себя позе: по обыкновению, он широко расставлял руки и ноги, сейчас же, наоборот, весь поджался, обхватил колени руками, уткнул в них подбородок. Он смотрел вдаль остановившимся взглядом, лицо имело выражение решительное, что, как правило, свидетельствовало о его неуверенности.

Жером тоже пристроился на ступеньках, но в метре от Шарля и молча закурил. Сгорбленная спина, всклокоченные на затылке волосы, серьезный вид – все говорило Жерому, хорошо знавшему Шарля, что тот глубоко опечален, а такое случалось с ним крайне редко. И все-таки Жером садистски выждал, чтобы Шарль заговорил первым. Затаенное недоброжелательство примешивалось к его состраданию, поскольку он знал, что, будь ситуация несколько иной, вернее, будь Алиса несколько иной, не будь она на сто голов выше его давнишнего приятеля и выше любовных приключений, какими их понимал Шарль, короче, будь у Шарля хоть малейший шанс соблазнить Алису, он бы не задумался, он бы у него ее отнял или попытался отнять. «Все права и все обязанности», – вспомнилось вдруг Жерому. Таков был девиз странного кодекса, который составили они вдвоем сами для себя много лет назад, в том переходном возрасте, когда лозунги бойскаутов еще довлеют отроку, но они уже подточены цинизмом; вот с этим-то наивным цинизмом подростков они и предусмотрели все обстоятельства своей жизни; один из законов, к примеру, гласил, что так же как дом друга – твой дом и не требуется никаких предлогов, чтобы в нем поселиться или заявиться среди ночи, точно так же и женщина друга есть добро, которое с легкостью можно у него отобрать, не навлекая на себя упреков, если она согласна, – в добродетель возводилось безразличие и полуанглийские-полуварварские нравы, прельщавшие воображение юных девственников (или наполовину девственников, поскольку Жером подозревал, что Шарль уже успел поладить с дочкой булочника).

В восемнадцать лет они еще во многом руководствовались своим кодексом: ни один, ни другой не спешили расставаться с отрочеством, во всяком случае, не настолько, чтобы открыто отречься от принятых законов или сжечь их. В результате они их сохранили. Впрочем, вплоть до описываемого времени оба нарушали их, полагая, например, что, когда едешь к другу, приятнее, чтоб он встретил тебя у поезда. Что касается женщин, то ни у одного из них никогда не возникало желания заполучить избранницу другого, и романы их развивались параллельно. Но сегодня, увлекшись Алисой, Шарль очень кстати вспомнил давний кодекс и ухаживал за ней в открытую. Между тем несчастный соблазнитель был явно не в лучшей форме: тонус его приближался к нижней отметке.

– Кончай вздыхать, – сказал Жером, – а то прямо смотреть больно.

Шарль живо обернулся к нему:

– Ты не сердишься? Нет, кроме шуток, ты на меня не в обиде?

Он выглядит встревоженным всерьез, подумал Жером и невольно улыбнулся. Вернее, он бы выглядел встревоженным, когда б имел другой цвет лица, когда б белки его глаз не были такими белыми, кожа – такой загорелой, натянутые мускулы под ней – такими крепкими и выпуклыми, а густые блестящие волосы не скрывали б нахмуренный лоб. Выражение тревоги могло лишь скользнуть по его лицу, но задержаться – нет. Такие лица теперь уже не встречались.

Такими цветущими физиономиями, таким животным здоровьем обладали только гитлеровские солдаты, восседающие на танках обнаженные по пояс эсэсовцы. Жители оккупированных стран бледны, промелькнуло в голове у Жерома. Можно подумать, что молодые солдаты германской армии вместе со свободой, миром и жизнью конфисковали у Европы солнце, ветер, море и даже поля. Но за спинами тысяч юных атлетов – Жером это знал – поднима-

лись из-за руин, из подвалов, отовсюду их антиподы, их негативы, блеклые, изнуренные, чей удел – мрак, норы, подполье, а то и колючая проволока. Словно каждый из молодых красавцев, созданных для войны, для того, чтобы наступать и рубить без жалости, порождал, сам того не ведая, другого человека, отличного по крови, по возрасту, одержимого иной идеей, и этот человек, живой или мертвый, являл собой оборотную сторону, изможденную и окровавленную, их боевой арийской медали. К самым стойким, самым яростным из этих последних и принадлежали люди, работавшие с Жеромом и вместе с ним помогавшие другим выжить в грязных гостиницах, на черных лестницах, в неотапливаемых комнатах, до отказа набитых поездах, темных каморках, жутких коридорах метро, повсюду. И постепенно повсюду собиралась армия отверженных. Целое поколение мужчин и женщин, с которым Жером сблизился в тридцать шестом году и о немыслимом существовании которого мир еще не подозревал. Новая разновидность человека, со своим отличным от других языком, не имеющим ничего общего с языком словарей. В их лексиконе под словом «отдых» понималась тюремная камера, глагол «бегать» означал скрываться, слово «встреча» подразумевало катастрофу, а слова «завтра» или «послезавтра», и в мирной-то жизни употреблявшиеся со знаком вопроса, сопровождались здесь еще пятью многоточиями. В этом кругу ада Жером жил уже пять лет, сюда хотела спуститься вслед за ним Алиса.

– Коли ты на меня не злишься, давай, что ли, выпьем по стаканчику, – сказал Шарль, побледневший, несмотря на загар, и сильно расстроенный. – Выпьешь со мной?

– Ну разумеется, – отвечал Жером.

Шарль возвратился так же мгновенно, как исчез. Он потрясал бутылкой молодого сухого вина с привкусом фруктов и гальки, показавшегося изысканным Жерому и еще в большей степени Шарлю, одним духом опорожнившему два, а то и три стакана: дело в том, что Шарль благородно дождался прощения, прежде чем прибегнуть к сему бодрящему душу средству, не пошел тайком на кухню в поисках легкого утешения, и эта робкая щепетильность в мелочах, в деталях, которую Жером всегда искал в других (ровным счетом ничего не требуя по вопросам, которые интересовали его всерьез), тронула его. Он ежеминутно обнаруживал в Шарле что-то от того немного угловатого юноши, симпатичного и открытого, волокиты и рыцаря, задиристого и мягкого, ленивого, но деятельного и отчаянно храброго, который некогда был его другом. Из него бы вышел отличный кадр, не будь он так привязан к своей кожевенной фабрике и жалкому Петенишке. Впрочем, коль у него самого ума не хватило, Жером подумает за него. Он рассмеялся своим мыслям.

– Почему ты смеешься? – строго спросил Шарль. – Как ты можешь смеяться, когда она плачет!

– Кто? – переспросил Жером.

– Алиса!

– Да что ты, она давно уже перестала! Это она так, от нервов, от усталости: видишь ли, жить в Париже непросто, у нее нелегкая жизнь.

– Но почему? Что я мог такого сказать, что она заплакала? Я хочу уберечь ее от этого, старик, я не хочу, чтоб вместо отдыха у меня в доме она плакала – это невозможно! Какое именно слово на нее так подействовало? Может, «пум-пум-пум-пум»?

«Пум-пум-пум-пум» получилось у него неплохо, но уже не с тем вдохновением, как давеча; теперь оно изображало не чеканный шаг марширующего отряда, а тяжелую, скорбную поступь умирающего слона.

– Да нет, дело не в «пум-пум-пум», – возразил Жером. – Впрочем, ты прав: это из-за «пум-пум-пум». Я должен тебе кое-что объяснить, Шарль. Видишь ли, мужа Алисы звали Герхард Файат, он был известнейшим австрийским хирургом, лучшим хирургом Вены…

– Ну а потом? Он умер? Что с ним случилось?

– Нет, – сухо ответил Жером. – Он не умер. Хотя должен был бы по нынешним временам! Нет, он в Америке. Он был… он еврей.

– Ах да, – протянул Шарль. – Да, верно: я слыхал, что в Австрии немцы вели себя довольно-таки гадко.

– Довольно-таки, – подхватил Жером, которому претили подобные риторические фигуры, – довольно-таки. А поскольку Алиса в это самое время была не в лучшем состоянии, у них… не знаю, в общем, вышел разлад; короче, они развелись. Он уехал в полном отчаянии, она в полном отчаянии осталась. Более того, она возненавидела… себя, не его, он, по правде говоря, был ни в чем не виноват.

– Она тоже еврейка? – спросил Шарль.

Жером испытующе взглянул на Шарля, но не нашел в его глазах ничего такого, чего ему не хотелось бы видеть.

– Не знаю. Не думаю, – ответил он. – А что, тебя это смущает, у тебя могут быть неприятности?

– У меня? Да ты что, с ума сошел?

– А у тебя на заводе и вообще в округе – я не знаю, давно здесь не бывал – нет антисемитизма? Не читают люди «Гренгуар»? Не слушают речи Петена, Лаваля, не знают, что еврейская раса очень опасна, что евреи отняли у них деньги, картошку, шерстяные чулки и вообще заправляют всем во Франции? Они здесь всего этого не знают?

– Да нет, – отвечал Шарль, – откровенно говоря, не думаю, что в Формуа найдется хоть один человек, который бы читал эту чушь или верил в нее. Скажи, а что немцы сделали Алисе в Вене?

Жером едва не рассмеялся: если сказать сейчас, что какой-нибудь эсэсовец дал Алисе три пощечины, наверное, этого будет достаточно, чтобы сделать из Шарля самого искреннего, самого убежденного участника Сопротивления. Но Жерому требовалось другое. Ему не нужен был джентльмен, взбеленившийся по личным, сентиментальным мотивам. Ему нужен был человек, который знает, за что борется и за что, возможно, рискует жизнью. Попросту говоря, ему требовался другой Шарль, но который бы при этом жил здесь и был тем самым Шарлем, с его лицом, умом и его эгоизмом. Затея эта, вполне вероятно, не имела ни малейшего шанса на успех.

– А для чего ты вчера комедию разыгрывал, сторонника Петена из себя строил? – произнес Жером, задумчиво позевывая и показывая тем самым, как мало значения он придает этому невинному фарсу, из-за которого, между прочим, он все утро выл от ярости у себя в комнате. – Зачем до четырех часов валял дурака и изображал коллаборациониста?

Шарль взял стакан и стал не спеша потягивать вино, подняв другую руку, словно беря передышку на сочинение лжи, – так поднимают руку в покере, блефуя. Когда Шарль поставил стакан, у него уже был готов ответ, и Жером понял это по его глазам.

– Все очень даже просто, – смеялся Шарль, – все очень просто. Должен тебе признаться, я старею, да, старею – вот какая странная штука. Я так давно живу здесь один, я, знаешь, хандрил, когда вы приехали, мне хотелось человеческого общения – вот и все! И я стал говорить о политике, потому что не знал, о чем еще мы могли бы поговорить: ведь если б мы были согласны друг с другом, мы бы легли спать с птичками… до наступления ночи.

– Разве нет у нас с тобой тем, на которые мы могли бы поговорить, не споря? – спросил Жером.

– И много ты таких знаешь? – возразил Шарль.

Они взглянули друг на друга холодно, агрессивно, но тотчас вдруг заулыбались. Несмотря ни на что, в них еще жила, искрилась старая дружба, их так и подмывало ткнуть друг друга кулаком в бок, похлопать по спине, обнять за плечи. Особенно удивительно это было со стороны Шарля, при его отвращении к мужчинам, их образу мысли и, главное, внешнему облику.

– Стало быть, если я правильно понимаю, ты наврал все от слова до слова, – осторожно продолжил Жером. – Наврал так, что дальше некуда. Может, теперь ты признаешься, что руководишь сетью Сопротивления, разбросанной по дивным холмам Валанса? А? Скажи, ты, часом, не подпольщик? Или ты действительно всерьез занимаешься своей кожевенной фабрикой?

– Я действительно всерьез занимаюсь своей кожевенной фабрикой, – твердо ответил Шарль. – И прошу тебя усвоить, что я не шучу. И не собираюсь играть в войну с кем бы то ни было. Не может быть и речи о том, чтобы я ввязался в войну, ты слышишь, Жером, речи быть не может!..

– Но почему? – Теперь Жером и в самом деле удивился. – Ты обожаешь оружие, любишь риск, драку, ты…

– Я не хочу убивать и еще меньше хочу быть убитым, – признался Шарль с милой откровенностью. – Я не желаю видеть это снова.

– Видеть – что?

Шарль встал, прошелся по площадке, носком башмака раскидывая гравий, и Жером поймал неодобрительный взгляд выглянувшего из-за угла дома садовника, целых полчаса этот гравий ровнявшего. Швырнув в разные стороны несколько пригоршней камней и вызвав тем самым отчаянный курино-лебединый крик, Шарль возвратился к сидевшему на крыльце Жерому, встал перед ним, расставив ноги, засунув руки в карманы, и, откинув голову назад, принялся рассматривать небо.

– Видишь, – прошептал он, – посмотри на небо – ты видишь это небо? Видишь, вот тополя, луга, деревья, чувствуешь, какой запах, представь себе все это в разные времена года, подумай только, с тех пор, как я родился, а особенно с тех пор, как я здесь живу, сколько раз я видел эти пейзажи, розовые осенью, бледно-голубые весной, и черные холмы зимой… И достаточно пустячка, острой металлической штучки… Она пронзит меня… И меня бросят в землю и навалят грязной, бурой земли между моими глазами и этими пейзажами, все затмят, я буду там, внизу, и больше ничего не увижу; ничегошеньки из того, что видел, чем дышал, что сейчас мое, вот оно, тут, понимаешь? Это преступление, преступление, никто не имеет права этого делать.

Он выглядел таким удрученным и возмущенным, что Жером, поначалу лишь слегка озадаченный эдаким приступом поэтичности у такого далекого от поэзии человека, затем всерьез заинтересовался:

– Когда же ты все это обдумал? Где? Почему? Что произошло?

Шарль рассмеялся, сел, решительно осушил бутылку, предварительно сделав вид, что предлагает ее Жерому. Его карие глаза заблестели, засветились от вина, зноя и возмущения.

– Я расскажу тебе, что произошло, если ты расскажешь мне все об Алисе. Ну, все, чего я не должен делать, что могло бы причинить ей боль. Обещаешь?

– Хорошо, хорошо, обязательно, – отвечал Жером. – Рассказывай, что случилось.

– Так вот, вообрази, что в сороковом году меня с отрядом угораздило оказаться в Арденнах, ну, не в Арденнах, а под Мецем: там сражались долго, до самого конца. Я был в дозоре, и в день перемирия, ну, за сутки до него, у нас вышла самая жестокая за все время схватка. Нас было двенадцать, а вернулось шестеро. Мы напоролись на немецкий танк, а в руках у нас только винтовки Шасспо; засели мы на ферме, где укрывались тихо-мирно от солнца, и палили по нему. А он – по нам! Да как! Это было глупо, понимаешь, глупо! А что нам оставалось делать под таким шквалом огня?

– Почему было не сдаться? – спросил Жером. – Офицеру вашему не пришло в голову сдаться?

– Так ведь он ушел! – воскликнул Шарль в ярости. – Ушел, не знаю зачем, не знаю куда. Сказал мне, понимаешь, мне, чтобы я командовал дозором (я!), велел удерживать ферму; я,

значит, спрашиваю других: что будем делать? Они отвечают: не знаем. Вот и остались, как последние мудаки. А на рассвете те прекратили огонь, и мы узнали, что объявлено перемирие. Вот так. Но я-то в течение двенадцати часов думал, что вот-вот подохну, отдам концы, и все тут; стрелял из-за двери по танку, как кретин, и думал, что умру, умру из-за балбесов-генералов, по вине офицеров, которые сами не знают, куда нас ведут, думал, что умру из-за этого идиота ненормального, который вот уже девять лет вопит по радио на немецком языке и всем осточертел, думал, что я, Шарль Самбра, любящий жизнь, женщин, воду, корабли, поезда, брюнеток и блондинок, собак, кошек, лошадей, – умру в тридцать лет, как болван, неизвестно ради чего, ради вещей, которые меня совершенно не интересуют, да еще за несколько часов до перемирия. Вот. Я был вне себя!

Жером расхохотался. Он представил себе, как разъяренный Шарль оскорбляет подчиненных, стреляет куда попало, воображает себя героем, ползает на карачках, бросает гранаты, мечется туда-сюда, бормочет что-то себе под нос, ругается, как извозчик. Он просто не мог удержаться от смеха. К его великому удивлению, Шарль вовсе не смеялся. Напротив, он сжал губы, и на лице появилось лживое, коварное выражение, какое бывало у него в минуты гнева. Все непривычные для него чувства выступали фальшью на его лице.

– Но кончилось все благополучно, – сказал Жером.

– Для меня – да, – ответил Шарль. – А вот Леша`…

– Какой левша?

– Фамилия такая – Леша`, – громко рявкнул Шарль. – Несчастный парень, молоденький совсем, мы с ним три месяца вместе были. Бедолага работал в Монтрейе. Родители у него были без гроша, рабочие. Он всю жизнь трудился. Корпел ночи напролет – право изучал. Задумал, вообрази, сделаться адвокатом. И добился-таки своего – трудом. Стал адвокатом, диплом получил, как раз перед самой войной. Собирался вернуться в Париж: там у него приятель контору открывал и брал его к себе. Леша этот в люди выбился, родители его очень довольны были, и он тоже… он, скажу я тебе, просто счастлив был. Я даже больше тебе скажу – последние три месяца он был счастлив вдвойне: тут, на войне, он получил первые в своей жизни каникулы! Представляешь? Он с ребятами по полям носился, мы пили, развлекались как могли, палили в воздух по пролетающим немецким самолетам и думали, что в конце концов, наверное, кому-нибудь сдадимся, а когда все кончится, он, Леша` – опля! – станет адвокатом, звездой Парижской коллегии. Потому что он ко всему прочему был влюблен в свою профессию; он не ради денег, он бедных собирался защищать.

– Ну и что дальше? – спросил Жером.

– А дальше… дальше он погиб, кажется предпоследним. Понимаешь, не знаю, что там у них произошло с наступлением ночи, путаница какая-то. То ли они хотели ферму хитростью взять, не знаю; короче, вдруг у нас вылетела дверь, в нее ворвался какой-то тип и наткнулся прямо на Леша, тот как раз винтовку отложил, покемарить хотел. Здоровый такой детина, одного с Леша роста и возраста такого же, немец, в руках у него ничего не было… не знаю, в чем дело… винтовку снять не мог – зажат оказался, выхватил нож, Леша пошел на него, а мы все – мы далеко от двери были, спали уже – встать пытались, не получалось, прикладами стучали и орали. Я ближе всех лежал, и я увидел, как Леша и тот тип бросились друг на друга, сцепились, знаешь, как боксеры на ринге, когда уже бить друг друга не могут, сцепились, за шею друг друга обхватили, как два пацана, два ровесника. Держат друг дружку за шею, чтоб не так больно было, и одновременно – потому что их, идиотов, так учили, – одновременно руками на боку ножи нашаривают, кинжалы в ножнах. Достали. И я видел, как они, видел собственными глазами, Жером, как эти два идиота, держа друг друга за шею, обнимаясь, да, да, как дети, стали – ох, идиоты – тыкать ножами друг другу в бока и кричать «нет», «найн», «нет», один – по-французски, другой – по-немецки. Кричали «нет» не когда удар получали, а когда наносили, потому что самим жутко было. Я видел, как Леша кричал «нет, нет», вонзая

кинжал немцу в сердце, и как тот стонал «найн, найн», всаживая лезвие Леша в живот и падая на него. Все продолжалось одну минуту, а кажется – сто лет. Я всю ночь ухаживал за Леша. Ему было очень больно – это больно, когда в живот. А под конец – мне уже плевать было, умру я или нет, – под конец он мне сказал, только это и сказал за всю ночь, в темноте, пока лежал, и повторил несколько раз… а пахнуть начинало все хуже и хуже и… Война – это кошмар…

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.